

УДК 81

ЯЗЫК НЕ БЫВАЕТ НЕЙТРАЛЬНЫМ*

Э.А. Тайсина

Аннотация

Интерес для политической философии представляет теоретический вопрос относительно качественных различий между языком власти и языком политики, а также практический вопрос о возможностях управления обществом при помощи контроля языковых практик. Цель настоящей работы – предложить вероятные решения обоих вопросов путем обращения к понятию языковых модальностей, смене кода вэрикулярных и вернакулярных языков и др. Главный вывод: два *различных* функциональных стиля «внутри» языка политики суть язык демократии и язык власти.

Ключевые слова: политическая лингвистика, демократия, языковая политика, функциональные стили, управление обществом, политика *versus* власть.

В формате новой субдисциплины, политической лингвистики, сердцевинной проблемой является наложение (или даже слияние) политики и языка: появление языковых измерений политической деятельности, институционализация корпуса модальностей и других языковых средств, позволяющих контролировать политические события, возникновение особого функционального стиля – языка политики (прежде этим языком была философия), а на метауровне – языковая активность политологов, воодушевленных возможностями лингвистики. Несмотря на длительную историю вопроса, считать эту проблему решенной пока нельзя. Однако власть предрасположена, часто интуитивно, иногда вооружаясь некоей теорией, не оставляют попыток оптимизировать управление социумом путем обретения контроля над речевыми практиками. Это заслуживает внимания политологов.

Что язык никогда не бывает нейтральным – это не большая новость.

Что язык никогда не бывает нейтральным – это большая истина.

Но является ли поиск этой большой истины большим и важным делом?

На XXII Всемирном философском конгрессе в г. Сеуле (Южная Корея) его президент, датский философ Питер Кемп, рассказал о роли языка в жизни общества, о его силе «не милитаристской, не экономической, не технологической», но огромной – силе «*слова*, способного бросить вызов всем прочим силам, разоблачить обман, развеять иллюзии и предложить человечеству лучший мир для жизни»¹.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта № 11-03-00621-а «Язык и политика: прагматика взаимодействия».

¹ “[Philosophical argumentation and reflection constitute] a non-economical, non-technological and non-military power by the *word* that is capable of challenging the other powers exposing lies and illusions, and proposing a better world as dwelling for humanity” [1].

Питер Кемп имел в виду язык философии. Мы можем горячо разделять его веру, как и все философы, которые верили в «Macht des Wortes» («силу слова»), или мы можем назвать это выступление ни к чему не обязывающим «говорением на досуге», как бы сказали политики. Вообще-то в самом деле и то, и другое правильно... Универсальные свойства языка – выступать фоном, общим топом, то есть местом, где живут бытие и познание; содержать причины и основания (акта, действия и явления); служить «альфой и омегой», началом и концом “glorious ontos On” (выражение Дж. Ваттимо), то есть «великолепной онтической онтичности» («бытийствующего бытия»), данной людям в восприятии. В отличие от представителей естественных наук, философы и политики осознают эти свойства достаточно хорошо.

Тем же летом, после XXII Всемирного философского конгресса, во время нашего путешествия через всю Россию на «Философском поезде» еще один видный европейский (испанский) философ, Томас Мариано Кальво Мартинес, сделал ценное добавление к выступлению Питера Кэмпса. Благородные древние греки, по его словам, предписали нам *разумные беседы*, то есть такой диалог, на который мы можем согласиться, где каждый собеседник честно относится к самому себе и честен по отношению к другим. Тут нет места насилию, нет – лжи, нет – большой спешке, есть «истинное знание» – *эпистеме*, есть *добрая воля* и *свобода слова*. Я бы сказала, что речь Питера Кэмпса была великолепным примером доброй воли, глубокого знания и свободы говорить о *свободе мысли*, и эти три условия разумного диалога совпадают в *философии*.

Конечно, мы, философы, несем ответственность за это интеллектуальное оружие, *язык*, изменяющее народы и людей, истории и биографии, как это делает и любое оружие. То же касается ответственности *политиков*. Язык политики, кажется, имеет аналогичные философскому языку цели и характеристики, в отличие от естественных наук и их функциональных кодов.

Зачем здесь говорить о науке? Причина состоит в самом существовании способности разумного *рассуждения*, или *рациональности*, которая объявляется решающей, дефинитивной характеристикой всех трех важных сфер жизни общества: философии, науки и политики. В соответствии с этим мы рассмотрим три культурных кода – языки философии, науки и политики – с точки зрения рациональности.

Юрген Хабермас в своей книге «Фактичность и значимость» утверждал, что взаимовлияние людей существует и взаимные их обязательства имеют *рациональные основания* [2]. Современная российская философия науки, изучающая основания доказательности и рациональности, выдвигает следующие требования к ним:

- 1) концептуальная и языковая выразимость (дискурсивность);
- 2) определенность;
- 3) систематический характер;
- 4) логичность аргументации;
- 5) чувствительность к критике и изменениям [3, с. 25].

Соглашаясь в целом с этими требованиями, необходимо сделать некоторые пояснения.

Первый пункт упоминает язык, и его роль в качестве «органона» рассуждения остается неизменной в отношении научной, а также политической или

любой другой рациональности. Если научная рациональность понимается таким образом – продвигает ли это наши знания?

Первое требование ясно: это древняя (если не *самая древняя*) философская идея о связи мысли и слова (следует добавить: и их предмета). Важно только подчеркнуть семиотический характер этого гносеологического постулата, а также допущенную в нем ошибку слишком узкого определения... Не только рациональное – любое другое состояние сознания оптимально (превосходно) манифестируется в языке. Вообще говоря, языковую выразимость следовало бы включить и в определение истины.

Второе требование – выражение аристотелевского закона тождества, главное условие рациональности, согласно которому мысль должна быть ясной и определенной (в расширенной трактовке: нельзя одни и те же мысли выдавать за различные; нельзя отождествлять разные мысли).

Третье требование, системность, можно было бы счесть детищем новейшего времени, но можно этого и не делать. В традиционном выражении это проявление закона противоречия и закона исключенного третьего, отвечающего за последовательность мышления, – *вместе взятых*. Это имеет теоретический смысл, поскольку позволяет *понять* нечто, непротиворечивым образом встроив его в имеющуюся систему взглядов, и адаптивно-практический смысл, поскольку составляет необходимую основу поведения, всегда предполагающего и осуществляющего некий выбор между А и не-А.

Далее, *четвертое*: требование логической обоснованности говорит само за себя. Это закон Лейбница, который отвечает за серьезность, аргументированность, «фундированность» мысли (правда, у самого Лейбница он был онтологическим, а не просто логическим).

Наконец, *последнее* требование, попперианского характера, можно также счесть детищем либо XX века, либо всех истекших веков, ибо, едва зародившись, философское (то есть теоретическое) мышление было рефлексивно-критическим. Следовательно, эту экспликацию можно считать одновременно и современной (конец XX – начало XXI в.), и «школьной», классической. Коротко говоря, здесь утверждается следующее: то, что *рационально*, всегда *логически* рационально. Но то, что называется аргументацией, не всегда логично... Например, пророческое видение («вещий сон») в Средние века было решающим аргументом в любом диалоге.

Можно вспомнить и классификацию видов рациональности, приводимую в интересующем нас издании [3, с. 15–16], где утверждается, что «рациональности» делятся согласно наукам, которые они характеризуют. *Логико-математическую* рациональность характеризуют идеальная предметность, конструктивная однозначность, формальная доказательность, аналитическая верифицируемость. *Естественнонаучная* рациональность обладает свойствами эмпирической предметности, наблюдательно-экспериментальной однозначности, частичной логической доказательности, опытной верифицируемости (подтверждаемости и фальсифицируемости). *Инженерно-техническую* рациональность отличают «вещная» предметность, конструктивная системность, эмпирическая проверяемость, системная надежность, практическая эффективность. *Социально-гуманитарной* рациональности свойственны социально-ценностная предметность,

рефлексивность, целостность, культурологическая обоснованность, адаптивная полезность. Стало быть, рациональность рациональности рознь, и эта «рознь» зависит от предмета знания и способа его освоения [3, с. 26]. И к последнему типу мышления, не вполне и не всегда строго логичному, гуманитарное мышление как раз и относится. Политическое рассмотрение общественных закономерностей, будучи *социально-гуманитарным*, является более философским, чем научным.

Давайте поставим следующие вопросы. На каком языке говорит *демократия*? Это тот же самый язык, на котором говорит *философия*, или какой-то другой? Ведь и классическая философия, и классическая демократия – обе родились на площадях Афин (и некоторых других древнегреческих полисов).

Очевидно, что в самом начале демократия говорила по-гречески. В Новое время она обратилась к французскому и английскому языкам. И в последнее время говорит даже на немецком и русском языках. Но независимо от этнической принадлежности мы должны ответить на вопрос, *что такое* никогда не нейтральный язык демократии: это «вэйкулярный диспозитив» (то есть арсенал) политической власти в обществе, называющем себя демократическим, или коммуникативный код людей, живущих под давлением того или иного «демократического режима»? Это голос «Системы» или голос «народа»? Это говорит «kratos» («сила») или «demos» («народ»)? Когда-то не было такой строгой дихотомии. Сегодня мы знаем, что она есть.

Как Юрген Хабермас показал в своей «Теории коммуникативного действия» [4], современное общество, разделенное на «Lebenswelt» (знаменитый «жизненный мир», мир повседневных – семейных, дружеских – «теплых» отношений) и «Систему» («холодное» царство государственной власти и денег), может рассчитывать только на взаимное понимание, основанное на рациональном дискурсе. В то же время оно не может надеяться на «слияние» народа и власти, которое оказывается даже опасным в современном обществе, когда политика силы вторгается в сферу «теплых» коммуникаций.

«Система» государства, по Хабермасу, включает в себя власть и деньги, администрацию и рынок, правительство и его бюрократию (а также, добавим, армию и военный флот). Символически организованный мир культуры включает в себя семью, дружбу и любовь, родной язык, воспитание и традиции (хотя государство, безусловно, тоже активно использует символические формы).

Системно-интегрированные сферы экономики и управления противостоят социально-интегрированным сферам личной жизни и общественной гласности. В основе конфиденциальной приватности лежит небольшая семья, избавленная от тягот домашнего хозяйства; ее главная роль состоит в социализации. Основа общественной жизни формируется в коммуникационных сетях, а также в средствах массовой информации. Коммуникативные акты в теории Хабермаса противостоят инструментальному действию.

Существует реальная опасность проникновения экономической и административной рациональности в сферы, которые противостоят силе денег и власти, оставаясь по-прежнему особым образом связанными с культурной традицией, социальной интеграцией, воспитанием детей, где взаимопонимание рассматривается как единственный механизм координации и взаимодействия.

Если монетизация и бюрократия, типичные для государственной экономики и государственной политики, проникнут в символическое воспроизводство “Lebenswelt”, «жизненного мира», а не только в мир материального воспроизводства товаров и услуг, патологические последствия неизбежны. Образование становится конкуренцией. Культура разбита «цивилизацией». «Живая форма частного дома» искажена, и люди обращаются из человеческих существ в «потребителей» и «электорат» (или, можно сказать, в «трудовой ресурс»), уступая требованиям рынка и власти. Побеждает потребительство «человека-собственника», индивидуализм «людей успеха», утилитарный стиль, соперничество, и в конце концов наступает потеря смысла и свободы. В социальной сфере люди попадают под пресс административной системы. Бюрократически организованный процесс формирования общественного мнения и управления волей расширяет возможности целенаправленного конструирования лояльности масс.

Эта теория коммуникации концентрируется вокруг анализа *языка* как механизма координации всех социальных действий. Чаще, чем даже нужно, социальные и гуманитарные науки обращаются к инструментарию лингвистики. Языковая политика может принимать форму языкового строительства, нормализации языка, или образовательной программы, или даже «войны языков» (“la Guerra de las Lenguas”), как мы наблюдаем это в Каталонии и в других регионах. Или же она может образовывать политический арсенал противостоящих идеологических групп и партий, как мы видим это в свободомыслящей Франции, где данный процесс действительно имел место в наше время.

Чтобы ответить на социальные вызовы, мы должны знать кое-что о языковой политике и политической лингвистике – области филологии, которая была сформирована в виде «субдисциплины» во Франции, во второй половине 70-х годов XX в. (см. [5]). Концепция языковой политики также имеет французское происхождение: она была впервые использована Фердинандом Брюно в конце 20-х годов XX века для обозначения набора практик, собранных в «определенный диспозитив власти», как мы предпочитаем говорить после работ М. Фуко. Иными словами, языковая политика предполагает радикальную национальную централизацию и создание гомогенного топоса дискурса.

Все началось, когда французский лингвист Фердинанд Брюно обнаружил при помощи своих исследований, что в некоторых программных документах якобинского Конвента в середине 90-х годов XVIII века «была совершенно ясно выражена определенная тенденция революционного правительства осуществлять систематический контроль за функционированием языка» [5, с. 167]. Это была языковая политика в подлинном смысле этого слова.

Следующее имя, связанное с внедрением полностью унифицированного «национального» языка для общего пользования (что, безусловно, повлияло бы на функционирование государственной машины), – это Анри Грегуар. Он предложил программу буквального искоренения так называемых вернакулярных (“vernaculaire”, то есть не нормированных, не универсальных, региональных) языков. Введение вэикулярного (“vehiculaire”), то есть единого «транспортного» национального языка, по его мнению, могло превосходно послужить для улучшения коммуникации, поскольку транзит одинаково понимаемых и унифицированных битов (блоков) информации имеет огромное значение для административной машины.

Этот политик пожелал, чтобы была произведена оптимизация «номенклатуры», а это означало не только построение единой классификации административных фигур и постов или единой системы мер и весов, но также внедрение того и другого и в общество в качестве легкодоступного и обязательного для всех граждан кода [5, с. 168].

Основная цель перехода всей французской нации на единый вэикулярный язык Анри Грегуаром была сформулирована следующим образом: «упростить механизм и улучшить движение государственной машины». Для достижения этой цели должен был получить свое решение комплекс проблем. Предлагалось:

1) внедрение новой топонимики, чтобы закрепить новую систему административных районов и т. д. (старая топонимика указывала на исторические названия провинций, и названия улиц и площадей сохраняли символическое господство феодальной аристократии и монархии)¹ [5, с. 168–169];

2) стимулирование мобильности между департаментами, отмена внутренней таможи (что также нуждается в унифицированном языке общения, так как «патуа» (*patois*), то есть региональные диалекты, развивались в границах старых феодальных территорий);

3) создание единой системы мер и весов (при старом режиме каждая область использовала свои «меры», называемые на региональных языках, что вызывало большие препятствия для торговли);

4) внедрение радикально нового уровня кооперации в производстве: отсутствие единого кода сделало невозможным продвижение капиталистической промышленности, так как каждая операция или инструменты имели свои названия на местном наречии. По этой причине единый национальный язык для общего использования был очень желателен [5, с. 169].

Близко к этому типу аргументации стоит известная теория языкового планирования Эйнара Хагена. Последний верил в возможность создания единого национального языка на основе так называемого консенсуса графолектов: он имел в виду искусные (и искусственные) конвергенции различных диалектов в определенный, опосредующий все социальные процессы, универсальный код (до-вавилонский язык, можно так сказать, – одинаково понятный всем людям, участвовавшим в создании гордой Вавилонской башни).

Но в эпоху Возрождения, когда родились языки великих европейских литератур, «единый язык всегда строился на основе одного диалекта, пришедшего из региона, игравшего роль глобального интегративного центра» [5, с. 173]. По этой причине «дисквалификация» и уменьшение роли региональных языков до вэикулярных диалектов в современности и постсовременности были неизбежны.

В XX веке новые теоретические исследования (работы Ч.А. Фергюсона, Дж. Фишмана, У. Лабова и др.) доказали абсолютную зависимость языка от социальных речевых практик, идеологической обусловленности. Они также выявили слабость абстрактного понимания языка в условиях гомогенной «стандартной» системы. Остановимся подробнее на лингвистических исследованиях

¹ Кстати, это не ново: известна Реформа Клисфена 508–506 гг. до н. э. в Аттике. Презрение Клисфена к ионянам и разрыв номинальных связей с ними сильнее всего проявились в уничтожении в Аттике ионийских названий фил, в которые объединялись фратрии.

Уильяма Лабова, так как они знаменуют начало *социального* анализа языка в отличие от *абстрактного*.

Уильям Лабов выбрал структуралистскую дихотомию речевой компетенции и речевого перформанса в качестве своей цели исследования. Этот дуализм считался хорошо отлаженным, и противоречие между данными противоположностями считается вечным и вечно основанным на дихотомии Соссюра *Langue/Parole* («язык/речь»).

Для политической лингвистики это очень важно; надо обсудить гипотезу об оппозиции гомогенной «первородности», врожденности грамматической структуры (см., например, порождающую грамматику Н. Хомского) и гетерогенного, несистематического характера практики речи. В своем знаменитом исследовании «черного английского» Уильям Лабов продемонстрировал то, что он назвал «переключением кода». Было показано, что говорящий использует процедуру смены кода (то есть переход с «черного диалекта» на стандартный английский и обратно) 18 раз всего за несколько фраз! Он пришел к выводу, что, если мы сможем описать эти операции систематически, станет очевидно: дилемма стандартных языковых и речевых практик является искусственной. Проще говоря, это неправильное противопоставление [5, с. 170].

После работ Лабова «универсальная» дихотомия “vernaculaire” (нестандартного) и “vehiculaire” (стандартного) языков выглядела сомнительно [5, с. 173], так же как оппозиция между диалектом и нормированным языком. Дело в том, что каждый язык по горизонтали делится на определенные слои с их собственным словарем, фонетикой и грамматикой. Эти функциональные стили сильно различаются, но каждый носитель языка может переключаться с одного на другой и даже на очень многие другие. Их существование объясняется (после трудов Лабова) как расхождение социальных практик. Если правительство умеет управлять ими, то политическая власть удваивается еще одной силой, анонимной, но чрезвычайно эффективной.

Страна свободы, Франция, в настоящее время предоставляет очень много примеров использования языковой политики в идеологической, парадигматической и практической борьбе. Так называемый нейтральный и описательный подход Мишеля де Серто был оспорен со стороны антиамериканской “Kulturkampf” («культурной войны»), а также различными формами неомарксизма и регионализма, школой Жака Лакана. Теоретически мы можем говорить о догматическом подходе, противопоставленном социологическому подходу к языку. Но эти теории имеют очень значительный практический смысл. Если правительство или власть любого рода предпримет действия по захвату контроля над речевыми практиками и сумеет трансформировать их в техники власти, оно приобретет «несравненное оружие управления и мобилизации» [5, с. 171].

Одна из первых попыток создать типологию объединяющих функций языка была предпринята французским лингвистом Анри Гобаром. В его классификации было четыре типа языков. Кроме «стандартного» (“vehiculaire”) и «нестандартного» (“vernaculaire”) она также содержала «референциальный» и «мифологический» типы. «Под вэикулярным языком Гобар имел в виду официальный язык аппарата управления и бюрократии, язык “высокой” культуры и образо-

вания он назвал “референциальным”, и “мифологический” язык должен был играть роль утопической *Ursprache*» (то есть «праязыка») [5, с. 174].

В 70-е годы XX в. Анри Гобар был министром культуры, и он может считаться первым политиком, который привлек внимание к войне культур, а именно к войне массовой американской культуры против европейского наследия. В 1979 г. его книга под названием «Культурная война. Логика разрушения» была опубликована в Париже. Он писал, что война уже началась, без официального объявления, барабанов и труб – война лживых слов и обманчивых концептов, война предателей и узурпаторов истинной свободы. Классическая война, заявил он, направлена в сердце, чтобы убивать и завоевывать. Экономическая война поражает живот, чтобы эксплуатировать других и обогащать себя. Но культурная война нацелена в голову людей, чтобы парализовать, не убивая, победить путем коррупции и обогатиться за счет распада других культур и народов. Культурная война использует все свободы, узурпируя их для того, чтобы проникнуть в любое место и уничтожить все ценности, все различия, все духовное богатство изнутри.

Ж. Делез и Ф. Гваттари использовали систему А. Гобара в своих исследованиях, касающихся политической ситуации в австро-венгерской Праге в начале XX в. Анализ был основан на работах Ф. Кафки.

Переосмысливая эту типологию сегодня, мы могли бы назвать язык власти и политики – взиккулярным, язык философии и науки – референциальным, языки различных этнических, маргинальных, профессиональных и т. п. культур – вернакулярными, а язык религии – мифологическим. Но есть и глубокое проникновение, например, мифа и обряда, метафор и символов в каждую культуру, науку, идеологию и политику; некоторые национальные языки (скажем, английский) взиккулярны для всего мира; вернакулярные сленги стали активно использоваться в социальных сетях (например, “Olbanian”, так называемый «олбанский», в сленге русских подростков). Они быстро превращаются в мгновенных переносчиков политических идей определенного типа (в основном «антисистемных»), и язык этих шифров (а не только математика) обслуживает все типы рациональности.

Поэтому мы должны снова вернуться к вопросу: на каком языке говорит демократия?

Это не только национальный язык, но и интернациональный, как язык философии и науки. Он, безусловно, взиккулярный. Это язык политики, так что он рационален и разумен, он обеспечивает свободу мысли и показывает добрую волю. Теми же характеристиками обладает язык философии и науки. Откуда тогда проистекает разница?

Во-первых, это разница в объектах. Язык науки пишет картину мира. Язык политики пишет картину общества. Язык философии – автопортрет человека.

Во-вторых, разница заключается в функциональном стиле, тонко понимаемом. Было бы тривиальным утверждать, что после работ Куна и Поппера язык науки изобличен как метафорический и субъективный в такой же мере, что и язык поэзии и философии. И наоборот: это прописная истина, что язык политики должен быть достаточно определенным и ясным, так как двойной смысл в политике опасен и может даже превратить рутинные осложнения диалога в «горячую» войну. Однозначные клише политической лингвистики хорошо известны своей строгостью.

Акцент может тогда быть поставлен на семиотических различиях. Языки науки строятся на основе строгого синтаксиса и конвенциональной семантики. Языки политики живут в богатом мире прагматики. Политика никогда не использует “*epohé*” («выведение за скобки») в отношении человеческой субъективности, социальных паттернов, бытовых нужд и т. д., как физика и метафизика, которые часто это делают. Вспоминая Фрэнсиса Бэкона, его “*idola*” («призраки»), мы можем отметить, что два из них, «призраки рода» и «призраки пещеры», непобедимы и борьба с ними есть борьба с самой человеческой природой. Поэтому победить означало бы потерять; мы можем только ослабить их вредное влияние на разум. В отличие от этого две другие группы – «призраки площади» и «призраки театра» – либо служат неизменной мишенью для жесткой критики со стороны науки, либо играют в бесконечную игру в сфере социальных речевых практик.

Формальная логика запрещает аргументы «к человеку» и «к публике», но политическая и любая другая риторика это позволяет, называя подобные рассуждения аргументами «к пафосу» и аргументами «к этосу». Они подвергаются остракизму в языке науки, но им аплодируют в языке политики. Последний может в полной мере использовать силу воображения в отношении нереальных условий, в то время как наука обычно не может себе этого позволить. Язык политики является социальной призмой, преломляющей все общественные отношения, символизирующей реальность жизни независимо от того, сладка она или горька. И, будучи выражением всего этого, язык политики есть дискурс самой практики, ее идеологический посыл.

Сказанного выше все же недостаточно для того, чтобы ответить на вопрос, почему (и когда, на каких условиях) язык политики становится языком бесчеловечной Силы и, таким образом, недемократическим даже при демократических режимах.

Это случается, когда язык демократии превращается (трансформируется, извращается) в язык власти. И мы не можем судить об этом изменении только по таким маркерам, как личная подпись должностного лица, или по «догматическим» маркерам порождающей грамматики Хомского, или по «социологическим» код-переключателям Лабова, или даже по обращению исследуемого языка в качестве “*vehiculaire*”, а не “*vernaculaire*”.

Тем не менее мы можем констатировать разницу. Для этого мы должны обратить внимание на лингво-логические размерности, а именно наклонение и модальности. *Научные* и *политические* языки относятся к различным типам наклонений и модальностей. Декоративная витиеватость, риторическая образность, эквивокация и амфиболия политического языка противостоят информативности, лаконичности и строгости языка науки. Философский язык занимает позицию между этими языками.

В классической логике принято различать пять видов модальностей, причем эпистемические имеют еще два подвида.

Алетические модальности выражают степень необходимости события. Они обозначаются в языке операторами «необходимо», «случайно», «невозможно», «возможно». Диалектика возможностей (абстрактные и конкретные, формальные и реальные) в элементарной логике не учитывается. Однако сам Аристотель,

создатель логики, писал, что в отношении будущего времени двузначная логика плохо срабатывает: например, высказывание «Необходимо, чтобы состоялось морское сражение» не может быть достоверно оценено ни как истинное, ни как ложное. Язык политики этим часто пользуется.

Эпистемические модальности выражают степень обоснованности (чаще всего научной) суждения. Они согласуются либо с нашим знанием (то есть такой его философской оценкой, как истинность), либо с недоказанным убеждением.

Модальности знания обозначаются операторами «доказуемо», «неразрешимо», «опровержимо». Это сфера научных поисков, сомнений, потерь и обретений. Модальности убеждения, соответственно, имеют операторы «предполагается», «сомнительно», «отвергается», «допускается». Они чаще используются в языке политики.

Деонтические модальности, как представляется, имеют своим доменом именно политику (и право). Они маркируются такими словами, как «обязательно», «безразлично» (с точки зрения юридического закона), «запрещено» и «разрешено». Безусловно, все референты этих оценок относятся к области прагматики.

Аксиологические модальности – сфера «калокагатии», то есть этики и эстетики вместе. Здесь работают такие операторы: «хорошо», «безразлично» (с точки зрения морали), «плохо», «прекрасно», «безобразно». Эти модальности, в отличие от перечисленных выше, имеют степень: «лучше», «хуже», «равноценно». По мысли Гегеля, степени имеет только качество; это лишний раз подтверждает, что аксиологические суждения, хотя они являются единичными, частными или общими, то есть выражают количество, поистине выносят качественную оценку происходящему, и притом не в логическом (утверждение или отрицание), а именно в калокагатийном смысле.

Временные модальности также имеют степень. Помимо обычных «всегда», «иногда», «никогда» используются сравнительные операторы: «раньше», «одновременно», «позже». Они не являются специфическими маркерами ни для языка политики, ни для языка науки и равно используются в любой сфере общественного и индивидуального сознания.

Категориальный тезаурус *философии* занимает промежуточное положение как метаязык истолкования любой знаковой системы. Для *языка демократии* характерны алетические, эпистемические (убеждение) и аксиологические модальности, а для *языка власти* это преимущественно деонтические модальности.

Императивность языка демократии имеет характер предупреждения («Будьте осторожны!»), подчеркивает социальные права и обязанности («Не бойтесь! Не дайте им обмануть вас! Не оставайтесь в стороне от участия в голосовании! Не стать предметом манипуляции!» И т. д.). Это голос политика, претендующего на то, чтобы говорить от имени и в интересах избирателей, намеревающегося завоевать мандат и быть делегированным обществом на то, чтобы служить его представителем в парламенте или в другом подобном месте. Императивность языка власти – это приказ, отданный обладателем мандата, то есть «Системой».

Мы можем почувствовать разницу между *призывом* (или *обещанием*) и *приказом*. Призывы упакованы в картины возможного и с нетерпением ожидаемого будущего, которые прямо намекают, что их реализация непосредственно зависит от «легитимизации намерений и действий», обещанных политиком.

Директивы, инструкции, команды, комиссии, обвинения, разрешения «по доверенности...» – это основной запас коммуникативных инструментов власти, даже демократического происхождения. Язык политики является в общем языке политиков, а не *демоса*, хотя каждый речевой акт, выполненный в этой области дискурса, считается частью социально-политической коммуникации.

Иногда политики говорят обезличенно. Это случай *лозунга*, когда автор не исключает себя из аудитории своего речевого акта. В других случаях, однако, оратор обращается к определенной целевой группе. Такие призывы известны как *апелляции* (когда общественность должна быть судьей в политических дебатах) или *обращения*, содержащие более чем один простой, легко воспринимаемый призыв к некоей полезной социальной активности [6].

В российской политической лингвистике существуют и более сложные классификации [7, с. 420–433]. Они, однако, зачастую используют не различные концепты одного рода, как того требует решетчатая или ветвящаяся классификация, но – разноязычные синонимы. Это характерно для русской науки, философии и политики – использовать слово родного языка и слово греческое (или латинского происхождения) для экспликации предмета в нескольких разных смыслах, например: *общественный/социальный, деятельность/активность, призыв/лозунг, воззвание/апелляция, обращение/апелляция, побуждение/мотив, искусство/артистизм, население/популяция, перенос/трансфер, предмет/объект* и т. д. Таким образом, несколько лукаво, приходит содержательное богатство в наш язык... Такая «хитрость» говорит сама за себя. У «наших» политологов создается дополнительный лексический арсенал, помогающий разнообразить коммуникативный код и тем усиливать эффект воздействия на целевую группу.

Обобщая вышесказанное, мы приходим к следующему выводу.

Нет, язык никогда не нейтрален. Помимо очевидной идеологической ориентации политики по сравнению с «молчаливыми» социальными и культурными предпосылками науки, политика иначе относится к аргументации, чем (естественные, математические, технические) науки. Мы утверждаем, что существуют два различных кода, или функциональных стиля, внутри языка политики, демонстрирующих силу и значимость: язык демократии и язык власти. Сдвиг, переключение кода между ними вполне возможны.

Политические факторы являются скорее философскими, чем научными. Это заявление связано с тем, что философы не могут долго оставаться «просто» метафизиками: глубокие мысли, несомненно, приводят их к социальным вопросам, таким как общение, этика, политика, то есть сама реальность, которая **является** большим делом. Содержание реально существующих в обществе связей, отношений, событий, действий наилучшим образом воплощается в семиотических системах, *совершается* в них – в языке (языках) и других текстах культуры. Исследование этой сферы коммуникации, познание ее закономерностей, вероятно, дадут нам наиболее надежный инструмент воздействия на социум. Не случайно на XXIII Всемирном философском конгрессе, который состоится в Афинах в 2013 году, основной темой для обсуждения выбрана следующая: «Философия как исследование и образ жизни». Язык – это интеллектуальное оружие, которым с неизменным успехом пользуются философия,

наука и политика. Рассуждая о силе слова, Питер Кемп справедливо замечает: философы «должны признать, что эта сила огромна. <...> В мире, который мы, возможно, больше, чем когда-либо, формируем нашим словом»¹.

Summary

E.A. Taisina. Language Is Never Neutral.

A theoretical question regarding qualitative differences between the language of power and the language of politics and a practical question concerning the possibility to govern society by controlling language practices are of great interest for political philosophy. This work is aimed at proposing possible solutions to both questions by addressing the concept of language modalities, the code change in vehicular and vernacular languages, etc. A conclusion is made that two different functional styles within the language of politics are the language of democracy and the language of power.

Key words: political linguistics, democracy, language policy, functional styles, society management, politics vs. power.

Литература

1. *Kemp P. Rethinking Philosophy As Power of the Word // Seoul National University. – 2008. – 30 July. – URL: <http://capl.org.cn/NewsView.asp?id=944>, свободный.*
2. *Habermas J. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. – Cambridge: MIT Press, 1996. – 631 p.*
3. *Философия науки / Под ред. С.А. Лебедева. – М.: Трикта: Академ. Проект, 2004. – 736 с.*
4. *Habermas J. Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns. – Frankfurt/M: Suhrkamp, 1984. – 605 S.*
5. *Блинов Е.Н. Политическая философия языка: к новой типологии эвеккулярности // Эпистемология & философия науки. – 2011. – Т. XXIX, № 3. – С. 165–175.*
6. *Mukharyatov N.M., Taisina E.A. Logical and linguistic modalities as performance of the pragmatic function of political and scientific languages // Вестн. Казан. гос. энерг. ун-та. – 2010. – № 1 (4). – С. 88–97.*
7. *Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 358 с.*

Поступила в редакцию
31.05.12

Тайсина Эмилия Анваровна – доктор философских наук, профессор кафедры теоретических основ коммуникации Казанского государственного энергетического университета и кафедры философской антропологии Казанского (Приволжского) федерального университета.

E-mail: *Emily_Tajsin@inbox.ru*

¹ “[And thereby they] must recognize that this power is enormous. <...> In a world that we perhaps more than ever shape by our words” [1].